

Тройнов В. Чехов смеется. (Из воспоминаний о встречах с писателем) // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1937. 15 октября. № 9021. С. 2.

ЧЕХОВ СМЕЕТСЯ

(Из воспоминаний о встречах с писателем).

Набережная в Ялте. Внизу тревожно ворочается море. На скамейке, поеживаясь от резких налетов штормового ветра, сидит в наглухо застегнутом пальто худощавый пожилой человек. Его лицо с сероватым оттенком слегка приподнято. На тонкой переносице поблескивает пенсия. Иногда он легким движением сбрасывает его и смотрит на прохожих прищуренными глазами с некоторой холодностью и как будто с безразличием. Но это только кажется. Он любит наблюдать и беглым взглядом умеет заметить что-нибудь чудное в походке, в костюме, в лице.

— Смотрите, у этого человека вид жениха, сбежавшего после свадьбы. А вот этот. Честное слово, у него в кармане повестка на деньги от тетки из Тамбова.

И это не насмешка. Это — веселость, которая не покидает сильных духом людей до последних дней жизни. С людьми он мягок, внимателен и чужд какого-либо высокомерия. Знакомится он не сразу, но это происходит потому, что его скромность и застенчивость мешают быстрому сближению с людьми.

Таков поверхностный портрет Антона Павловича Чехова. Рядом с Чеховым сидит

московский писатель, семинарист и вечно юный, непоседливый Сулержицкий. Семинарист в державинском стиле восторгается бушующим морем.

— Ну, непременно — «разъяренная пучина», — с улыбкой говорит Чехов. — А вы закройте глаза и прислушайтесь. Не кажется ли вам, что сейчас сползли по железной крыше кирпичи от трубы? Жжи! А вот этот грохот: ну как будто опрокинули юннатку с булыжником.

Семинаристе скоро ушел. — Славный малый, — заметил Чехов. Все взглянули на него с удивлением.

— Да он же поэт! — воскликнул Чехов, делая серьезное лицо. — Он читал мне поэму «Ночь в Гефеманском саду». Послушайте: «и вот свершилось торжество, арестовали божество». Да это же замечательно! Всего две строчки. Я всю жизнь стремился к этому. А его папаша — тоже замечательное лицо. Он пишет сочинение в шести томах: «Божественное учение о сотворении мира из ничего». Шесть томов! — Чехов не выдерживает. В его глазах брызжет смех. — Как бы хотел написать хоть один том из ничего.

И, словно боясь, как бы его слова не приняли за насмеш-

ку над писательским творчеством, он обращается к писателю: «Писать надо, много писать. Ходите почаще в трактиры и прислушивайтесь. Мне самому вначале трудно приходилось и убыточно: на рубль напишешь, на полтинник напишешь. Но сразу нельзя же».

Чехов вспоминает свои тяжелые годы: отказы, долги, лишения. Это не забывается. Иногда он не прочь помечтать.

— Через триста лет в России труд станет свободным. Поверьте, наш народ богат сильными людьми. А пока сколько у нас держиморд и чинуш!

При этом он вспоминает, как выручал свои вещи из таможни по приезде из-за границы. Стесняясь дать денежную взятку придирчивому чиновнику, он предложил ему гаванскую сигару. Чиновник заявил, что не курит, а потом добавил: «А впрочем, позвольте». И взял: коробки целый пяток сигар.

Ветер крепчал, захватывал дыхание. Чехов закашлялся и стал собираться домой: нужно глотать хину.

— Да плюньте вы на медицину, — говорит Сулержицкий. — Вон Толстой, он против вашей латинской кухни и переживает нас всех.

По лицу Чехова пробегает

безспокойная гримаса. Он знает, что тяжело болен, но эта тревога глубоко спрятана. Минута, — и у него снова прилив веселости.

— Толстому это можно. Он только писатель. А я врач, и сам не знаю, почему вдруг заделался писателем. Недавно ко мне татарин приводил больного ишака, а третьего дня вызывали к приезжей губернаторше отрубить хвост у фокс-терьера. Если я не буду лечиться, я же потеряю авторитет у населения. К тому-ж, вы с Толстым мистики. А я человек честный: я верю только в науку. Будьте спокойны, на этом черлаке совершенно пусто, — Чехов безнадежно машет рукой по направлению к небу.

Домой поехали на извозчике. Предприимчивый Сулержицкий изображает полицеймейстера, сопровождающего высококую особу.

— Вы забыли, я же теперь не генерал, — говорит Чехов, намекая на свой отказ от звания академика в знак протеста против исключения Горького из академии.

Сулержицкий восторженно уверяет, что Чехова всегда и везде будут читать наряду с Гургеневым, Мопассаном. К славе Чехов глух. На писательский талант он всегда смотрел как на результат упорного труда.

— Я был знаком с одним учителем математики. Он мог свести с ума своими разговорами об Эвклиде, о Лобачевском, но ни разу не читал гоголевских «Мертвых душ». Я дал

ему эту книгу. Через год он мне ее вернул. — А знаете, — сказал он, — Гоголь не плохой писатель... Обо мне и этого не скажут. Пройдет десять лет, и меня просто забудут.

Всех, кто приезжает к нему, он ведет в сад. Он любит похвастаться каждым деревцем, посаженным собственными руками. А дом? Он сам руководил постройкой, бегал по лесам.

— Я же настоящий строитель Сольнос. И не шлепнулся.

Чехов избегал говорить о своих новых литературных работах. Если ему нужно было узнать что-нибудь для новой вещи, он делал это, между прочим, в разговоре, чтобы никто не мог догадаться об истинной цели его любопытства.

Когда вошли в дом, Чехов начал разсыпаться в похвалах Сулержицкому.

— Да не возражайте, пожалуйста. У вас смелая голова, разносторонность. Вы и в Канаду ездили, и тонкий артист, и правительство можете занозить... А не знаете ли вы какого-нибудь жестокого романа с таким отчаянным пошибом? А кстати, покажите фокусы. Ведь вы на все руки мастер.

Сулержицкий садится за пианино. Лицо его принимает деревянное выражение, он берет несколько резких аккордов и диким голосом начинает петь: «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги...».

— Замечательно! Замечательно, — повторяет Чехов,

захлебываясь от удовольствия.

Приносят карты. Сулержицкий с видом заезжей знаменитости показывает карту:

— Эй, швей, дрей! — И карта оказалась в кармане Чехова.

— Задумайте какое-нибудь желание, — предлагает Сулержицкий.

— Задумано, — оживленно отвечает Чехов.

— Вы задумали написать комическую пьесу, — говорит Сулержицкий, в упор глядя на Чехова.

Чехов растерянно потоптался на месте и вдруг залился своим милым задушевым смехом:

— А ведь вы правы. Без карт пьеса еще может быть, а без музыки и песни — ни в коем случае. Послушайте, вы, может быть, и следователем были?

Неизвестно, было ли это слушательство или Сулержицкий действительно произвел на Чехова впечатление своей импровизацией, но самый романс и фокусы вошли, как эпизоды, в его последнюю пьесу «Вишневый Сад».

На премьере «Вишневого сада» в московском Художественном театре, когда происходило чествование автора, эта надежда исчезла. Чехов стоял на сцене с осунувшимся, мертвенно бледным лицом и от слабости едва держался на ногах. Смерть была на пороге. Через несколько месяцев его увезли лечиться за границу, и оттуда долетели последние чеховские слова: их штарбе — я умираю.

В. Тройнов.